

В. П.
АВЕНАРИУС

ГОГОЛЬ-ГИМНАЗИСТ



Ученические годы Гоголя

Василий Авенариус

Гоголь-гимназист

«Public Domain»

1897

Авенариус В. П.

Гоголь-гимназист / В. П. Авенариус — «Public Domain»,
1897 — (Ученические годы Гоголя)

«Начало действия настоящего рассказа – минут двадцать до полудня 12 декабря 1823 года; место действия – отделение грамматистов французского языка гимназии высших наук князя Безбородко в городе Нежине, Черниговской губернии. Но что такое были эти отделения «грамматистов»? Хотя курс нежинской гимназии и состоял из девяти годичных классов – шести гимназических и трех университетских, – но такое деление касалось одних только научных предметов. По языкам воспитанники делились на шесть отделений, совершенно независимых от научных классов, а именно: на принципистов (обучающихся началам языка), грамматистов (обучающихся этимологии), синтаксистов, риторов, пиитов и эстетиков (обучающихся эстетике по классическим образцам); причем для получения аттестата об окончании полного курса достаточно было по языкам пройти четыре отделения...»

© Авенариус В. П., 1897

© Public Domain, 1897

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	17
Глава четвертая	24
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Василий Петрович Авенариус

Гоголь-гимназист

Биографическая повесть

Глава первая

Домоклов меч и расстрига Спиридон

Начало действия настоящего рассказа минут двадцать до полудня 12 декабря 1823 года; место действия – отделение грамматистов французского языка гимназии высших наук князя Безбородко в городе Нежине, Черниговской губернии.

Но что такое были эти отделения «грамматистов»? Хотя десятилетний курс нежинской гимназии и состояли из девяти годичных классов – шести гимназических и трех университетских, – но такое деление касалось одних только научных предметов. По языкам воспитанники делились на шесть отделений, совершенно независимых от научных классов, а именно: на принципистов (обучающихся началам языка), грамматистов (обучающихся этимологии), синтаксистов, риториков, пиитов и эстетиков (обучающихся эстетике по классическим образцам); причем для получения аттестата об окончании полного курса достаточно было по языкам пройти четыре отделения.

Таким образом, на уроке грамматистов французского языка, с которого начинается наш рассказ, помещались мирно рядом равноуспешные в этом языке ученики второго, третьего, четвертого и даже пятого классов научного курса.

В числе этих-то пятиклассников был и сидевший на задней скамейке четырнадцатилетний подросток, бледнолицый, с задумчиво-апатичным взором, с нависшими на лоб длинными белокурыми волосами и с острым ястребиным носом. По гимназическим спискам он значился Николаем Гоголем-Яновским; товарищи же и преподаватели называли его попросту Яновским. Ни тем ни другим, разумеется, и в голову не могло прийти, что из этого необщительного, ленивого и телом и духом человечка, напоминавшего о себе другим разве какой-нибудь не совсем безобидной шалостью, выработается великий писатель-юморист.

Пока профессор, Жан-Жак Ландражен, а в нежинском переводе Иван Яковлевич Ландражин, молодой еще француз, со свойственной его нации живостью и даже с увлечением толковал сидевшим перед ним на передней скамье лучшим ученикам сухие грамматические правила, облекая их для большей вразумительности в разговорную и повествовательную форму, на задней скамье между Гоголем и соседом его, Риттером, воспитанником четвертого класса, шел вполголоса совершенно посторонний разговор.

– Ну что же, барончик? – говорил Гоголь. Или храбрости не хватает? А еще Ritter, остзейский *льцарь*!

– Храбрости у меня хватит и не на такую штуку, – отвечал Риттер, голубые глаза навывкате и пухлые розовые щеки которого, однако, гораздо более напоминали вербного херувимчика, чем закаленного в бою рыцаря. – Но за что же обижать Ландражина? Он всегда вежлив с нами, никогда не бранится...

– И колами награждает!

– А тебе бы, небось, четверки, когда и в зуб толкнуть не знаешь?¹

¹ В Нежинской гимназии высшим баллом было «4».

– Перестанете ли вы трещать, господа? – тихонько укорил болтунов сидевший по другую руку Гоголя приятель его, четырехклассник Прокопович, здоровенный малый с густым румянцем во всю щеку, за что получил от Гоголя прозвище «Красенький».

– Годи, годи, мое серденько, сам еще с нами насмеешься, – отозвался Гоголь и обратился снова к Риттеру: – Вот что я тебе скажу, Мишель: коли угодишь в потолок над самой его макушкой, можешь взять, так и быть, за чаем мою булку; а промахнешься, так отдашь мне свою. Идет?

– Идет, – сдался наконец Риттер и достал из стола заранее разжеванный клякспапир и заостренное гусиное перышко.

Но бумажная жвачка успела уже пересохнуть и не давала хорошенько протолкнуть себя перышком. Риттер сунул ее себе в рот.

– Вы что это, Риттер, закусывать изволите? – окликнул его вдруг профессор.

Вопрос был сделан, как всегда, по-французски. Прибыв в Россию из Франции в 1812 году с наполеоновской армией, Ландражен не вернулся уже на родину, а пристроился в могилевском губернском правлении помощником переводчика; вскоре же, найдя более выгодным педагогическое поприще, он стал преподавать свой родной язык сперва в частных домах, а потом и в учебных заведениях. С 1822 года он состоял младшим профессором французской словесности в Нежинской гимназии, а также и хранителем гимназической библиотеки, которую старался пополнять, конечно, только французскими книгами. Благодаря этому, многие воспитанники охотники до чтения, говорили уже свободно по-французски. Гоголь, хоть и любивший читать, но одни русские книги, и Риттер, ничего никогда не читавший, не принадлежали к числу этих знатоков французской речи и потому отвечали профессору всегда по-русски. Ландражен им в этом не препятствовал – на нет и суда нет, – но отметками их, понятно, не баловал.

На оклик профессора Риттер проворно вынул изо рта свою жвачку и привстал с места.

– Я ничего, Иван Яковлевич.

– Слышали вы, что я сейчас объяснял?

– Слышал-с.

– Так повторите. Риттер безмолвствовал.

– Вы, может быть, и слышали, да не слушали. Покажите-ка сюда вашу тетрадку.

– Я, Иван Яковлевич, забыл ее в музее. «Музеями» назывались рабочие залы пансионеров, где они готовили уроки к следующему дню, и помещались вместе с классными комнатами на втором этаже гимназического здания.

– Эта забывчивость у нас просто хроническая, – заметил Ландражен. – Ну что, если бы все вы, двести человек, забывали этак свои тетради?

– А вот сейчас высчитаем, что бы из сего вышло, – сказал Гоголь и стал как бы считать по пальцам: – По четыре урока в день, это составило бы на двести человек восемьсот тетрадей, а в год восемьсот, помноженные на триста шестьдесят пять или, для краткости, на триста, – двести сорок тысяч! Легко сказать: проверить двести сорок тысяч тетрадей! Лучше уж прямо в гроб ложись и помирай.

Ландражен несколько раз порывался остановить школьника и наконец топнул ногой и громко крикнул:

– Eh bien², Яновский!

Точно речь шла не о нем, Гоголь с видом недоумения огляделся по сторонам: кого, дескать, это понимает профессор.

– Гоголь-Яновский! – повторил тот. – Что вы, оглохли или забыли свою фамилию?

– Так это вы меня называли Яновским? – с наивным удивлением спросил школьник и неспешно приподнялся.

² Ну что же! (*фр.*)

– А то кого же?

– Родовая моя фамилия – Гоголь, а Яновский – только так, приставка: ее поляки выдумали.

Молодой профессор чуть-чуть улыбнулся.

– Но сосед ваш, Риттер, например, откликается и на такие приставки, – сказал он. – Сколько мне известно, он простой остзейский *фон*, а вы величаете его и бароном.

– О, у него, как у милого ребеночка, этих ласкательных имен хоть отбавляй: барончик Доримончик, фон-Фонтик-Купидончик, Мишель-Дюсенька, Хопцики... А у испанцев он величался бы Дон-Мигуэль-Перец-Аликанте-Малага-Херес-де-ла-Фронтера-Экстра-ма-дура-дель-Азинос-комплетос.

При всем своем благодушии, Иван Яковлевич не выносил слишком большой фамильярности со стороны учеников. Он коротко призвал шутника к порядку и затем обратился снова к своим грамматическим разъяснениям. Но не прошло минуты времени, как с задней скамьи, через головы впереди сидящих, взвился в вышину самодельный метательный снаряд и пристал к потолку как раз над профессорской кафедрой.

Из уважения к любимому профессору молодежь во время шутливого разговора с ним Гоголя сдерживала еще свою веселость; теперь на всех скамьях разом зафыркали, заржали. Если бы Ландражен сам и не догадывался, в чем дело, то устремленные на одну точку потолка взоры воспитанников выдали ему, где искать разгадку. Он поднял голову и вспыхнул: над самым теменем его повисло на жвачке перышко, продолжавшее еще колебаться. Он быстро встал и спустился с кафедры.

– Это вы опять отличились, Риттер?

Черные угольки глаз самолюбивого француза метали такие искры, что у Риттера душа в пятки ушла.

– Нет-с, это не я-с... – запинаясь, пролепетал он.

– Не вы? Правда?

– Правда-с... Ей-Богу!

– Эх ты, горе-богатырь! Еще божится! – вполголоса попрекнул его Гоголь, а затем произнес громко: – Это я, Иван Яковлевич.

– Вы, Яновский? Скажите на милость, что это такое?

Гоголь взглянул в вышину, куда был грозно направлен указательный палец молодого профессора.

– Это – Дамоклов меч, *le sabre de Damocles*. Кто-то хихикнул, но огненный взгляд профессора в сторону смешливого словно ожег весь класс. Все кругом виновато замерло, можно было бы расслышать полет мухи.

– Говорят не «*le sabre*», а «*le glaive*», или «*l'epee de Damocles*», – счел нужным поправить ученика Ландражен и кстати тут же привел цитату из Беранже:

De Damokles l'epee est bien connue;
En songe, a table, il m'a semble la voir...³

Затем не столько уже с досадой, сколько с грустью прибавил:

– Дамоклов меч висит – точно, но над вашей же головой!

В это время из коридора донесся звонок, возвещавший большую перемену. Ландражен махнул рукой и повернулся к выходу; но на пороге еще раз обернулся и кивнул головой на потолок:

– Уберите-ка это, господа.

³ Дамоклов меч хорошо известен, он привиделся мне во сне за столом (*фр.*)

Пока приятель Гоголя Прокопович, отличавшийся если и не особенным прилежанием, то благонаравием, взлез на кафедру, чтобы снять с потолка неуместное украшение, сам Гоголь в толпе товарищей вышел в коридор, куда высыпали уже воспитанники и из других классов. «Дамоклов меч» дал обильную пищу для общих споров и пересудов. Одни обвиняли самого «барончика» как за его шалость, так еще более за выказанную затем трусость; другие взваливали главную вину на подстрекателя, Яновского, потому что барончик-де не выдумал бы пороха, если бы даже был самим Бертольдом Шварцем.

– Яновский и так ведь взял уже вину на себя, – вступился за приятеля Прокопович.

– Это не оправдание, это только смягчающее обстоятельство! – с важностью вмешался тут в разговор семиклассник – «студент» – Бороздин-первый, приземистый, но плотный, круглолицый юноша, стриженный почти наголо, отчего лицо его казалось еще круглее. – Мне жаль, главное, Ландражина: он – душа-человек и вел себя в этом случае, как вы сами, господа, говорите, со всегдашним благородством и тактом...

– Ну да, да! – перебил его пятиклассник Григоров, самый отъявленный школьник. Но тебе-то что до нашего семейного дела, расстрига Спиридон? В чужой монастырь со своим уставом не ходят.

– Во-первых, я не расстрига, а студент и сын полковника, – вскинулся Бороздин. – Во-вторых, зовут меня не Спиридоном, а Федором, как вам всем и без того известно. Ярлыки, которые навешивает нам Яновский, часто вовсе неостроумны.

– Ну, на свой-то тебе нечего жаловаться: по Сеньке и шапка, по фляжке – ярлык. Поглядишь-ка в зеркало: чем ты не расстрига? Так ведь, господа?

– Так! Так! – со смехом подхватило несколько голосов.

– Мы, трое братьев, стрижемся под гребенку по примеру отца... – начал было объяснять «расстрига».

Гоголь, до сих пор молча прислушивавшийся к пересудам товарищей, принял как будто его сторону:

– А по писанию: чти отца и мать свою. К тому же, господа, нынче он ведь именинник, а обижать именинника грешно.

– Как именинник?

– Да ведь какое сегодня число?

– Двенадцатое декабря.

– Ну, а это – день ангела Спиридона.

– Поздравляем, Спиридонушка, поздравляем! Дай ручку пожать! Не будет ли угощения? – посыпались на «именинника» с разных сторон незаслуженные насмешки.

– Meine Herren, zu Tisch! zu Tisch!⁴ – раздался по коридору звонкий тенор надзирателя – немца Зельднера, и гимназисты веселой гурьбой повалили к лестнице, ведущей в нижний этаж, где помещалась столовая с кухней, а также канцелярия, квартиры главного гимназического начальства (попечителя и директора), лазарет и церковь.

– Тебе, Яновский, это так не сойдет! – бросил Бороздин на ходу Гоголю.

– И тебе тоже, – был ответ.

Со стороны Бороздина сказано было это едва ли серьезно: ему, «студенту», строить какие-либо каверзы против гимназиста, а тем более «фискалить» по начальству совсем не пристало. Но Гоголя, видно, подзадорила угроза студента, и, всегда уже молчаливый, он за обедом очень неохотно отвечал на расспросы сидевшего рядом с ним лучшего друга своего, Данилевского. Последний, также пятиклассник, обогнал его, однако, во французском языке, состоял уже в числе «синтаксистов» и потому не был свидетелем ни сцены своего друга с Ландраженом, ни стычки его с Бороздиным.

⁴ Господа, к столу! (нем.)

– Ты мне объясни все толком, – говорил он. – Судя по тому, что мне передавали другие, ты, братец, кругом не прав.

– Не прав медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес зашла.

И Гоголь уткнулся опять в тарелку. После же обеда, когда остальные пансионеры разбрелись по своим «музеям» «для свободного приготовления к послеобеденным классам без обременения вольности отдохновения» (как значилось в их школьном регламенте), он, поднявшись также по лестнице на второй этаж, но не дойдя до своего «музея», остановился у окошка, выходящего в великолепный, но занесенный теперь снегом казенный сад, и так углубился в свои мысли, что даже не слышал, как сзади подошел к нему опять Данилевский.

– О чем задумался, Никоша? – спросил тот. – Верно, замечтался уже о весне, когда можно будет снова гулять по этим тенистым аллеям...

Гоголь загадочно улыбнулся.

– Мои мечты гораздо прозаичнее и ближе, – проговорил он, – я мечтаю о сюрпризе для дорогого именинника, о золотом яичке на серебряном блюде.

– Для какого именинника? Для Бороздина?

– Для Спиридона, да.

– Да что он тебе сделал, скажи, пожалуйста?

– Что сделала ласточка стрелку, который бьет ее на лету? Я стреляю ласточек тоже не из-за них самих, а чтобы проверить меткость своего глаза.

– Ну, и какую пулю ты отлил на эту ласточку? Мне-то, другу, можешь, кажется, поверить.

– А молчать ты умеешь?

– Умею.

Гоголь потрепал любопытствующего по плечу и лукаво подмигнул одним глазом:

– Хорошо, брат, делаешь. И я тоже умею. После чего повернулся к нему спиной и оставил его стоять с разинутым ртом.

Глава вторая

Как была подстрелена ласточка

Дружба между обоими завязалась еще с раннего детства. Отцы их, прошедшие вместе Киевскую духовную академию, жили и впоследствии не особенно далеко один от другого: от Яновщины, или Васильевки, имения Гоголей-Яновских, до Семеренек, имения Данилевских, было не более тридцати верст. О первой встрече своей с Сашей Данилевским в памяти Гоголя сохранились следующие подробности. Когда Саша, совершенным еще малюткой, был привезен впервые своим отцом в Васильевку, сам он, Николаша, лежал больной в постели, так что с маленьким гостем мог играть только Ваня, младший брат Гоголя, причем оба усердно угощались клюквой, которой Саша никогда раньше еще не едал. В 1818 году все трое были отданы в Полтавскую гимназию, где пробыли вместе два года. Но тут Ваня захворал и умер; Никоша был взят домой и затем, в августе 1821 года, помещен во вновь открытую в Нежине гимназию высших наук князя Безбородко. Туда же, год спустя, перешел и Данилевский. Здесь дружеские отношения двух одноклассников возобновились, и с глазу на глаз они звали друг друга по-прежнему *Никошей* да *Сашей*, как называли их дома свои.

Естественно, что Данилевского более, чем кого-либо из других гимназистов, должно было интересовать «золотое яичко», которое готовилось Гоголем «имениннику». По живости своего нрава, в противоположность флегматику Гоголю, охотно участвуя не только во всех играх, но и в школьных проделках товарищей, Данилевский относился более критически к скрытым затеям своего друга, нередко, как сказано, выходящим за пределы невинной шутки, и не раз уже выручал проказника-тихоню от заслуженного наказания. Сегодня он также нашел нужным не упускать его из виду и стал издали наблюдать за ним. Гоголь, очевидно, решил немедля привести свой таинственный план в исполнение. Пройдя в «музей», он открыл там свой шкафчик (у каждого пансионера имелся в «музее» свой собственный шкафчик вышиной в полтора аршина, окрашенный белой краской), достал оттуда два листа рисовальной бумаги и скляночку гуммиарабика, присел к своему столу и стал склеивать листы краями.

«Гм, значит, карикатуру опять намалюет», – сообразил Данилевский.

Но друг его свернул уже свой двойной лист трубкой и вышел обратно в коридор, а оттуда на лестницу, чтобы подняться на третий этаж, где находились спальни. Войдя в спальню своего – «среднего» – возраста (воспитанники делились на три возраста), он воззвал нараспев:

Ой, Семене, Семене,
Ходи, сердце, до мене!

На зов его, как по шучьему велению, тотчас показался с другого конца спальни дядька Симон.

Симон был специальным дядькой Гоголя. В первое время по открытии Нежинской гимназии, учебное начальство было в большом затруднении приискать достаточное число надежной прислуги и потому не препятствовало воспитанникам иметь при себе дядек из своих крепостных людей. Так и старик Симон, состоявший до тех пор дворовым поваром в Васильевке, попал в Нежин дядькой к своему панычу. К новым обязанностям своим он отнесся со всею беззаветной преданностью, какой в те патриархальные времена отличались крепостные «хороших» господ, к числу каковых, бесспорно, принадлежали и родители Гоголя. В начале пребывания в Нежине, когда дичок-паныч сильно тосковал еще по родному дому и, ложась спать, всякий раз, бывало, заливался слезами, Симон целые ночи напролет просиживал на табурете

у изголовья плачущего и шепотом урезонивал безутешного, но обыкновенно достигал своей цели только при помощи припасенной на всякий случай «бонбошки». Понемногу мальчик, правда, обжился в чужой обстановке; но Симон, это единственное наличное звено, связывавшее с родительским домом, был ему по-прежнему «свой человек», которому без оглядки можно было доверять самые конфиденциальные поручения.

– Что треба паньчу? – недовольным тоном спросил Симон. – Знать, все бонбошки опять вышли? Денег у меня ни гроша уже не осталось, – лучше и не проси.

– В одном кармане сочельник, в другом чистый понедельник? Старая, брат, песня! – сказал паньч, отмахиваясь своим бумажным свертком. – Дело теперь не в бонбошках, а вот в чем: достань-ка аршин и смерть мне сию штуку.

Но тут он заметил заглядывавшего к ним в дверь Данилевского.

– Э-э, ты чего там подсматриваешь? Не гляди, душенька! Ну, прошу тебя!

Данилевский отретировался; но когда, немного погодя, Гоголь прошел обратно в музей, друг его отправился на поиски Симона. Нашел он его в нижних сенях около кухни за какой-то столярной работой: наковал топором из доски четыре бруска и обтесав их, старик вымеривал теперь аршином каждый брусок, а потом стал прилаживать их один к другому. На полу около него стоял ящик с гвоздями и разными столярными принадлежностями.

– Ты что это, Симон, рамку для паньча мастеришь? – спросил Данилевский. – Не по твоей, небось, поварской части?

Симон исподлобья сумрачно покосился на вопрошающего, обтер рукавом пот, выступивший на лбу от непривычной работы, и забрюзжал в ответ:

– Смастеришь тут! Ступай, батюшка, ступай, еще простуду схватишь: сени-то ведь не топлены.

В это время хлопнула дверь со двора и вошел к ним в сени один из сторожей, Кондрат, или, по местному говору, Киндрат, заведовавший осветительными материалами гимназии.

– А что, братику Киндрате, – обратился к нему Симон, – не найдется ль у тебя на мой пай три-четыре огарочка?

– Отчего не найтись, – отвечал Кондрат. – А на что тебе?

– Стало, надоть. Уважь.

– Да ты наперед скажи: на что?

– Ввечеру узнаешь.

Старик был крепко упрям, и добиваться от него чего-нибудь больше, очевидно, ни к чему бы не повело.

– Добре, – сказал Кондрат. – Зайди ужо на кухню.

И Данилевский со своей стороны счел уже бесполезным допытывать ворчуна-дядьку, тем более что и без того догадывался, к чему клонится дело.

От двух до четырех часов у гимназистов были два послеобеденных урока. Сегодня первый из этих уроков был опять «сборный» для грамматистов другого иностранного языка – немецкого. Временно этот язык преподавал профессор Михаила Васильевич Билевич, главным предметом которого были «политические науки»; но так как он, будучи уроженцем Венгрии, получил воспитание в Пештском университете и знал хорошо также немецкую словесность, то, впредь до приискания подходящего преподавателя, ему были поручены и уроки немецкого языка. Был он человек средних уже лет, характера тяжелого, раздражительного, строгий педант и в общении своем с ученикам представлял совершенный контраст с добряком Жан-Жаком Ландражем: этот никогда не доводил дела до директора, тогда как у Михаила Васильевича не проходило недели, чтобы директор, а то и педагогическая конференция не получали от него письменного рапорта о том или другом провинившемся школьнике. Воспитанники перед ним трепетали; но нельзя сказать, чтобы этот трепет отзывался благоприятно на их успехах в немецком языке, к которому они почти поголовно питали неодолимое отвращение.

Сегодня расположение духа Михаила Васильевича было не хуже, но и не лучше обыкновенного. Шесть человек было переспрошено, и четверо из них стояли уже по четырем углам класса, а против фамилий их в журнале красовались толстые «палки». С каждой «палкой» темные брови профессора сдвигались гуще, и неспрошенные еще воспитанники неотступно следили за взглядом Михаила Васильевича и гусиным пером в его руке, которым он водил сверху вниз и опять снизу вверх по журналу, намечая себе новые жертвы.

– Гоголь-Яновский! – внезапно раздался голос профессора.

Никто не откликнулся. Билевич поднял голову и зорко из-под нависших бровей обвел глазами ряды учеников.

– Яновского разве нет тут?

– Он не так здоров, – отвечал за отсутствовавшего Данилевский; при всем своем правдолюбию, он взял теперь из-за друга грех на душу.

– Да ведь давеча до обеда я видел его еще в коридоре?

– Галушек, знать, за обедом объелся: мы оба с ним до них большие охотники.

– Ну, так мы для памяти изобразим здесь нам обоим также по галушке, – с сухой иронией произнес профессор и вывел в журнале против фамилий Гоголя-Яновского и Данилевского по сферическому знаку, имевшему в самом деле отдаленное сходство с галушкой.

– Да за что же это, Михаила Васильевич, помилуйте! – запротестовал Данилевский. – Может, мы с ним великолепно выучили урок...

– Как великолепно выучил его Яновский – покажет будущее, до него мы доберемся; а вас мы сейчас проберем по косточкам; пожалуйте-ка к доске.

Данилевскому этого только и нужно было. Он действительно хорошо знал урок и, выйдя к доске, ответил на каждый из предложенных вопросов без запинки.

– Гм... – промычал не ожидавший такого результата Михаила Васильевич, обмакнул перо в чернильницу, в нерешительности помахал им с минуту по воздуху и затем, словно нехотя, в одну из галушек вставил микроскопическую тройку.

– Вот что я вам скажу, Данилевский, – промолвил он благосклоннее обыкновенного, исподлобья озирая с головы до ног стоявшего перед ним стройного, красивого отрока, – задатки у вас от природы добрые. Зачем же вы дружите с этим ленивцем Яновским?..

Кровь хлынула в щеки Данилевского.

– Простите, Михаила Васильевич, – сказал он, – но вы, может быть, не знаете, что мы дружны с ним давным-давно, с малолетства, что и отцы наши...

– Слышал. Оставим это. Кто из надзирателей у вас нынче дежурный?

– Зельднер, Егор Иванович.

Так сходите-ка за ним и попросите сюда.

Надзиратель, очевидно, должен был бы разыскать сбежавшего и доставить его в класс во что бы то ни стало. Надо было предупредить Никошу, который, наверное, корпит теперь над своим «сюрпризом» в «музее». Оказался он, действительно, в «музее» за живописной работой, не имевшей ничего общего с классными занятиями. Увидев входящего, Гоголь накрыл свой рисунок рукавом и с неудовольствием спросил, что ему нужно. Когда же Данилевский рассказал, в чем дело, художник наш прервал его на последних словах:

– Значит, галушка мне уже поставлена? О чем же еще хлопотать? О второй галушке?

– Но Зельднер застанет тебя здесь...

– Не застанет, если ты не найдешь его.

– Но найти его очень нетрудно.

– В этом-то и вся задача твоя, чтобы искать его там, где его нет. Ну, будь здоров, уходи, пожалуйста! Не то, право, не поспею.

И верный друг пошел искать надзирателя там, где его не было. А тут наступила пятиминутная перемена, и ученики «сборного» немецкого урока разбрелись по своим «научным»

классам. Не дождавшись ни Данилевского, ни Зельднера, профессор Билевич, по выходе из класса, сам передал, что нужно, ходившему по коридору надзирателю, и тот не замедлил разослать дежурных сторожей за Яновским. С тяжелым сердцем живописец должен был оторваться от своей работы и плестись в класс, где предстоял еще последний урок – география.

Но едва только преподаватель этого предмета, Алексей Михайлович Самойленко, переступил порог класса, как Гоголь, незамеченный, проскочил в коридор. Здесь, однако, он тотчас наткнулся на надзирателя.

Егор Иванович Зельднер, в полном смысле слова аккуратный немец, исполнял свои надзирательские обязанности с примерным рвением. По регламенту воспитанники должны были во время рекреаций говорить между собой либо по-немецки, либо по-французски, смотря по тому, кто состоял при них дежурным: надзиратель немец или француз. И Егор Иванович в первые месяцы службы очень строго наблюдал за тем, чтобы в его дежурство говорили только по-немецки, а слушников подвергал установленной каре, оставляя их без чая или без сладкого блюда. Но что поделаешь с этими варварами, «mit diesen Barbaren», если они ни аза не смыслят по-немецки? Поневоле приходилось самому ломать язык и мешать благородную родную речь с варварской. Еще менее, конечно, виноват был Егор Иванович в том, что природа наделила его высоким тенором, переходившим в крикливый фальцет, сухопарой фигурой на несоразмерно длинных с кривизной ногах, на которых он шагал, как на ходулях, отнюдь не классическим профилем, водянистого цвета глазами и ершистой шевелюрой, которая не подавалась ни гребню, ни щетке.

Как бы то ни было, но, по милости своей ломаной русской речи, необычного тембра голосовых струн и еще более необычной внешности, Зельднер, при всем служебном усердии, не пользовался, к сожалению, у воспитанников надлежащим авторитетом.

– Wohin, wohin, mein Lieber?⁵ – задержал он Гоголя, когда тот хотел было шмыгнуть мимо.

– Да у меня, Егор Иванович, ужасно зубы болят... – сочинил тут же Гоголь, хватаясь рукой за щеку, и соорудил при этом такую жалкую мину, что простяк-надзиратель дался в обман.

– Верно, от сладостей, – заметил он не то с укором, не то с соболезнованием. – Ведь вы большой лакомка!

Мы избавляем читателей от неправильных оборотов немецко-русской речи надзирателя и приводим только ее точный смысл.

– Увы и ах! Кто перед Богом не грешен! – виновато вздохнул Гоголь. – И вы ведь, Егор Иванович, кажется, не прочь иногда пососать леденчик. Не угодно ли-с?

Он достал из кармана пригоршню леденцов. Егор Иванович неодобрительно покачал головой, однако не отказался, взял леденец, развернул из бумажки и препроводил в рот.

– Возьмите еще, – предложил Гоголь.

– Разве одну штучку...

– Берите все! Бог с ними: один соблазн! Ой-ой, как заныл опять, проклятый! Пополощу тепленькой водицей...

– Halt! Halt!⁶ – пронесся по коридору звонкий голос надзирателя вслед удирающему школьнику.

Удалось ли бы еще Егору Ивановичу, несмотря на свои ходули, настичь беглеца – неизвестно. Но Гоголю встретилось непредвиденное препятствие в лице самого директора гимназии, Ивана Семеновича Орлая, который как раз в это время появился из боковой двери и остановил его за руку:

⁵ Куда, куда, мой дорогой? (нем.)

⁶ Стой! Стой! (нем.)

– Куда?!

С Иваном Семеновичем шутить не приходилось. Знал это Гоголь еще до гимназии: у Орлая имелся маленький, в шесть душ, хуторок в Полтавской губернии, недалеко от Кибенец, имения малороссийского магната Трощинского. В доме-то последнего, приходившегося родственником Марье Ивановне Гоголь (матери Никоши), семейство Гоголей и познакомилось с будущим директором Нежинской гимназии. Не то чтобы Орлай был чересчур строг или придирчив – о нет! Напротив: крутые меры он принимал только в крайнем случае, предварительно до мелочей разобрав дело; входил в положение и большого и малого, но особенно покровительствовал обездоленным и слабым, ободряя, поощряя их и словом и делом. Этим он снискал себе общую любовь; а общее уважение заслужила ему, кроме того, его необычайная начитанность и ученость. С такими духовными качествами вполне гармонировала и его внешность: представительная, осанистая, выше среднего роста фигура, важное, благообразное лицо и изысканная опрятность и аккуратность в одежде (он всегда был в свежем белом галстуке и даже дома у себя никогда не надевал шлафрока). Правда, что темперамента он был очень горячего, как это нередко встречается у натур прямодушных и благородных, не переносящих неправды и каверз; правда, что, враг всякого беспорядка, он был очень требователен и в пылу гнева хватал больших школяров за ворот, а маленьких за ухо, – но никому и в голову не приходило обижаться этим: коли это делал Иван Семенович, сам «Юпитер-Громовержец», как прозвали его воспитанники, то, стало быть, так и надо было.

– Ну-с, что же? – спросил Орлай, не получая ответа от Гоголя, у которого язык не повертывался повторить директору басню, столь доверчиво принятую надзирателем.

Но подоспевший между тем Зельднер не замедлил доложить по-немецки «его превосходительству» («seiner Excellenz»), что «вот, у Яновского разболелся зуб, – и немудрено, потому что он вечно носит с собой полный карман леденцов...»

– Но Егор Иванович был сейчас так добр, что избавил меня от них, – досказал Гоголь.

Егор Иванович смутился и начал было оправдываться, но леденец, которой он еще не дососал, мешал ему говорить.

– Schon gut!⁷ – коротко прервал его директор и обратился снова к воспитаннику: – Испорченный зуб, мой милый, лучше всего с корнем вон.

– Он у меня уже не болит! – поспешил уверить Гоголь, испугавшись, как бы решительный во всем Иван Семенович не послал сейчас за цирюльником, который в гимназии исполнял обязанности зубного врача. – Я забыл сказать вашему превосходительству, что маменька прислала мне письмо. Она поручила мне засвидетельствовать вам усердный поклон и доложить, что по вашему имению все идет очень хорошо.

– Спасибо, дружок. Будете писать матушке, не забудьте поклониться от меня и поблагодарить. Что тебе? – обернулся Орлай к подошедшему в это время сторожу, и на доклад последнего начал отдавать ему какое-то приказание.

Гоголь не стал дожидаться и с почтительным поклоном пошел своей дорогой. Директору было уже не до него, а у надзирателя не было охоты опять связываться с этим озорником.

Вторым послеобеденным уроком оканчивались классные занятия воспитанников. Время от четвертого до пятого часа давалось им на «свободное отдохновение», от пяти до половины шестого они пили вечерний чай, от половины шестого до половины седьмого повторяли уроки, от половины седьмого до семи употребляли на «приятнейшее и благородно-шутливое препровождение времени» – чтение Лафонтеновских басен, слов и выражений гувернером. Собрав затем и «музее» классные принадлежности к следующему дню, они для возбуждения аппетита делали небольшой моцион на свежем воздухе от половины восьмого до восьми, ужинали и после нового небольшого моциона принимались опять за повторение уроков. В девять часов,

⁷ Ладно! (нем.)

после вечерней молитвы, они «отходили к постелям для раздевания и положения себя в оные», чтобы в половине шестого утра снова подняться и к половине седьмого быть уже готовыми к утренней молитве и чаю.

Гоголь вообще чуждался общества своих сверстников и редко когда принимал участие в их шумных сборищах. Сегодня же он был как-то особенно молчалив и сосредоточен, ни слова не проронил, когда «барончик» бесцеремонно завладел у него за чаем выговоренной булкой, и по временам только заносил что-то карандашом на лоскут бумаги; но писанье ему как будто не давалось: он нервно грыз карандаш и, написав пару слов, тотчас зачеркивал опять написанное.

Затем до самого ужина он куда-то бесследно исчез. За ужином он ничего не ел и беспокойно только озирался на входную дверь. Но вот там появился дядька Симон и подал ему издали какой-то загадочный знак. Паныч мотнул в ответ головой и сообщил что-то на ухо своему соседу. Таинственное сообщение мигом облетело весь стол, и, когда ужин пришел к концу, школьники, вместо того чтобы идти в шинельную одеться для вечерней прогулки, взбежали вперегонку на второй этаж, где были классы и рекреационный зал.

– Wohin, wohin, meine Herren?⁸ – кричал за ними Зельднер, который должен был сопровождать их на прогулке.

Оклик его остался гласом вопиющего в пустыне. Шумной волной все хлынули в рекреационный зал. Лампы здесь были уже потушены; но тем эффектнее выделялся из окружающей темноты среди зала освещенный сзади транспарант. Художник, исполнивший его, очевидно, хорошо пропитал бумагу маслом, потому что цветной рисунок прекрасно просвечивал. Представлял же он дервиша, которого громадными ножницами стрижет рогатый и хвостатый цирюльник; а под рисунком стояло следующее восьмистишие, заглавные буквы которого для рельефности были выведены красной краской и крупнее обыкновенного:

Се образ жизни нечестивой,
Пугалище дервишей всех,
Инок монастыря строптивый,
Расстрига, совершивший грех.
И за сие-то преступленье
Достал он титул сей.
О, чтец! имей терпенье,
Начальные слова в устах запечатлей.

– Да ведь это же акrostих, господа: «Спиридон»! – раздались кругом восклицания. – Ай-да Яновский! Ну, Спиридонушка, поклонись ему в ножки.

– Вот, извольте видеть, ваше превосходительство, вот они, плоды-то! – произнес тут по-немецки позади смеющихся знакомый фальцет.

Гимназисты живо расступились, чтобы пропустить вперед надзирателя и директора.

– Плоды, действительно, еще зеленые, особенно вирши, – заметил строже обыкновенного Орлай. – Это, Яновский, ваша мазня?

Отрекаться ни к чему бы уже не повело.

– Моя-с, – сознался Гоголь, который чуял уже надвигавшуюся грозу.

– Из вас, поверьте моей опытности, ни великого художника, ни тем паче поэта *dei gratia*⁹ никогда не выйдет. А дабы вы на досуге могли над сим поразмыслить, вы проведете эту ночь в одиночном заключении здесь же в зале.

⁸ Куда, куда, господа? (нем.)

⁹ Божьей милостью (лат.)

– Простите его, Иван Семенович! – неожиданно выступил тут ходатаем за своего обидчика Бороздин. – У нас были с ним маленькие счеты. А я даже рад, что дал случай товарищам посмеяться: меня от этого не убудет.

– В самом деле, Иван Семенович, – подхватил Данилевский, – я знаю Яновского с малых лет: сердце у него доброе. Но у него особенный дар подмечать все смешное, и он не в силах уже устоять...

– Чтобы не написать плохих стихов? – досказал заметно смягчившийся директор.

– Нет, Иван Семенович, у него есть и очень порядочные стихи, – вмешался тут второй приятель стихотворца, Прокопович. – На днях еще читал он мне свою балладу «Две рыбки».

– Полно, Красненький, я просил ведь тебя молчать, – пробормотал Гоголь.

– Да надо же знать Ивану Семеновичу, что у тебя есть поэтический талант! Баллада его, Иван Семенович, так трогательна, что я даже прослезился.

– Каково! – усмехнулся Иван Семенович. – О чем же она трактует?

– А под «двумя рыбками» он разумеет себя самого со своим покойным маленьким братом Ваней, которого он так любил, что до сих пор забыть не может.

– Гм... Вот что, Николай Васильевич, – отнесся Орлай к Гоголю, которого он, как и некоторых других старших воспитанников, вне учебных часов называл просто по имени и отчеству, – завтра у меня семейный праздник. Зайдите-ка и вы, да кстати захватите с собой свою балладу. Экстренной оказии ради, обед не в час дня, а в половине пятого. И вас, Федор Корнилович, прошу быть моим гостем.

И Гоголь, и Бороздин отвесили молчаливый поклон Юпитеру-Громовержцу, который, не упоминая уже об одиночном заключении, поручил надзирателю убрать транспарант и, пожелав всем воспитанникам доброй ночи, спокойно удалился.

Глава третья У Юпитера-Громовержца

Не в первый уже раз удостоился Гоголь приглашения к директорскому столу. По воскресеньям и табельным дням избранные из гимназистов-пансионеров, не имевших в городе родных, поочередно, партиями человек в пять-шесть, обедали и проводили вечер у Ивана Семеновича, который дома у себя обходился с ними не как начальник, а как любезный хозяин. Гоголь попал в число этих избранных не столько, конечно, из-за своих собственных заслуг, сколько благодаря доброму расположению Орлая к его родителям.

У Ивана Семеновича было шесть человек детей; но из трех сыновей двое старших служили уже в уланах и находились при своих полках. Один десятилетний Мишенька, с осени надевший гимназическую форму, находился еще в родительском доме, также как и его три сестрицы. Младшая из них, Лизонька, и подала на этот раз повод к семейному торжеству: ей исполнилось тринадцать лет.

Ровно в половине пятого приступили к закуске, а затем разместились чинным порядком за столом, который, по случаю большого числа гостей, пришлось накрывать в зале. Весь учебно-воспитательный персонал гимназии оказался налицо. Одни были во фраках, другие, за неимением таковых, – в вицмундирах, но все в белых галстуках, орденские кавалеры и при орденах. Воспитанники точно так же обменяли свои будничные серые сюртучки на нарядные синие мундирчики с черными бархатными воротничками. Мишенька Орлай собрал около себя чуть не дюжину своих маленьких сверстников. Гоголь был единственным из пятого класса и имел по одну руку от себя двух «студентов» – семиклассников Бороздина и Редкина, а по другую – четвероклассника Кукольника и третьеклассника Базили. Бороздин хотя по-христиански и отпустил своему должнику – Яновскому – его грех, но теперь словно и не замечал его присутствия: обернувшись к своему соседу – однокласснику Редкину, – он чуть не с благоговейным вниманием прислушивался к каким-то хитроумным объяснениям его по поводу последней лекции римского права.

Гоголь окончательно отвернулся от двух «студентов» к двум гимназистам, которые классами хотя и были ниже его, но годами почти ровесники с ним. Зато они оба были первыми учениками в своих классах. Кроме того, оба пользовались особенным покровительством Ивана Семеновича еще и потому, что Кукольник был сыном его предместника в должности директора нежинской гимназии, умершего через полгода по ее открытии, а Базили был из семьи эмигрантов-греков, в судьбе которой сам попечитель гимназии, граф Кушелев-Безбородко, принимал живое участие. Не мог Гоголь подозревать, конечно, что Редкий делается со временем профессором и ректором Петербургского университета, Базили станет известным дипломатом, Кукольник – даровитым писателем, а сам он – бессмертным юмористом.

Теперь у Гоголя было одно на уме – посмешить окружающих, потому что он чувствовал себя «в ударе», и точно: он так удачно подтрунивал то над Кукольником и Базили, то над тем или другим из мальчуганов, товарищей Мишеньки, что с нижнего конца стола до хозяйина-директора на верхнем конце то и дело долетали звонкие смешки, и Иван Семенович издали со снисходительной улыбкой кивал головой остряку, а дежурный надзиратель, француз Аман, не переставал призывать его к порядку.

Суп с пирожками, рыба с гарниром и жаркое со всевозможным соленьем и вареньем, как всегда превкусно изготовленные под личным руководством домовитой директорши, Шарлоты Ивановны, были скушаны с равным аппетитом. Но самый любопытный для молодежи момент обеда – десерт – был еще впереди. Лежавшие перед каждым прибором чайные ложки свидетельствовали, что предстоит нечто жидкое или полужидкое, не требующее ножа и вилки.

– А ну-ка, братцы, кто угадает, что подадут нам теперь? – спросил Гоголь.

– Мороженое! Воздушный пирог! Варенье со сбитыми сливками! – поднялся кругом оживленный хор ребяческих альтов.

– Стой! Дайте собрать голоса.

– А если кто не угадает?

– Не угадает, так отдает свою порцию.

– Кому?

– Мне, конечно, судье Шемяке.

Мальчуганы хором опять запротестовали. Но с разных сторон на них зашикали. Оказалось, что старший из профессоров, Билевич, собрался предложить тост.

Постучав ложкой о бокал, Михаила Васильевич с поклоном в сторону хозяина-директора заявил, что, предварительно установленной здравицы за юную виновницу торжества, будет уместно от имени всех присутствующих воздать должное ее досточтимому родителю и притом на благородном диалекте древних римлян, на коем его превосходительство, как истинный ученый, не имеет себе равных. За таким вступлением последовала сама речь. Хотя Гоголь, а тем более семиклассники Редкий и Бороздин были уже посвящены в «диалект древних римлян», но речь, очевидно, вперед заготовленная, оказалась настолько цветиста и витиевата, что многое из нее осталось и для них туманным. Общий смысл сказанного, впрочем, заключался в том, что Иван Семенович, сын небогатых, но благородных родителей, узрел свет Божий пятьдесят два года назад в глухом венгерском городке Густе и с малых лет отличался неусыпным прилежанием, в коем похвально тщатся подражать ему и присутствующие питомцы, за одним лишь печальным исключением, прибавил оратор, и брошенный им на нижний конец стола взгляд, остановившись на мгновение на Гоголе, не оставлял сомнения, кто именно был этим исключением.

Из дальнейшей биографии Ивана Семеновича слушатели могли узнать, что он блистательно прошел целый ряд учебных заведений, начиная от низшего народного училища и кончая генеральной Иосефинской семинарией, aliter¹⁰ богословским факультетом Пештского университета, а девятнадцати лет от роду был уже определен профессором арифметики, географии, истории и двух древних языков в велико-карловскую гимназию высших наук. Слава о нем, как об образцовом преподавателе, разнеслась далеко за пределы отечества, долетела наконец и до отдаленной невской Пальмиры, и сам кесарь всероссийский Павел I вызвал его к себе научным светочем просвещать погрязшее дотоле во мраке варварства юношество.

– Ohe, jam satis, carissime! – улыбаясь, прервал своего панегириста Орлай. – Amicus Plato, sed magis arnica Veritas¹¹. Дело было не совсем так. Состоял я, точно, преподавателем разных наук в велико-карловской гимназии, но преподавателем низших классов. Когда же, по конкурсу, я заслужил вакантное место учителя в старших классах, ректор-иезуит отказал мне в нем единственно потому, что я не немец, а русин. По молодости лет я не стерпел: «Хорошо! Коли я русин, так и пойду искать счастья на Руси», – и так-то попал в Петербург. А там в это самое время открылась медицинская академия. Я поступил в нее студентом, окончил курс...

– И наиблестящим манером! – досказал Билевич.

– По первому разряду, да; получил звание доктора медицины и хирургии, впоследствии и место ученого секретаря академии, гофхирурга и гофмедика...

– Но истинное признание вашего превосходительства было все же иное: на должность нашего начальника вы были призваны не как медик, а как образцовый словесник и педагог! И вы вполне оправдали, превзошли ожидания призвавших нас...

¹⁰ Другими словами (*лат.*)

¹¹ О, будет, любезнейший!.. Платон мне дорог, но правда дороже (*лат.*)

– Полноте, любезнейший: я делал только свое дело по совести, как подобает всякому честному человеку.

– Не токмо по совести, но и с достоюльной энергией, ибо радикально очистили сию авгиеву конюшню после злосчастливого нашего предместника...

– Тише, коллега! Вы забываете об ушах, коим больно это слышать, – вполголоса поллатыни предупредил Иван Семенович, указывая глазами на Кукольника, покойный отец которого, как хорошо известно было всем присутствующим, вследствие неурядиц, возникших не по его вине тотчас по открытии гимназии, впал в меланхолию, сведшую его вскоре в могилу.

– А что, господа, не пора ли поговорить опять и на общепринятом языке? – заявила Шарлотта Ивановна. – От горячих речей наших мороженое мое совсем, пожалуй, растает.

И точно, слуга уже несколько минут стоял с блюдом мороженого позади оратора.

– Виноват-с! – извинился тот и стал накладывать себе мороженое на хрустальную тарелочку.

Гимназисты были очень довольны вмешательством хозяйки, потому что внимание их было все время гораздо более приковано к сладкому произведению директорской кухни, чем к цветам красноречия Михаила Васильевича. Одному только Кукольнику не было дела ни до того, ни до другого: достав из бокового кармана какой-то листочек, он украдкой перечитывал его под столом, беззвучно шевеля губами. Когда же теперь Билевич на минуту умолк, Кукольник сорвался со стула, разом покраснел до ушей и, обведя окружающих неуверенным взглядом, стал откашливаться, словно у него запершило в горле.

– А! Нестор Васильевич никак тоже здравницу возгласить хочет? – заметил Орлай. – Но я должен, к сожалению, остановить вас, друг мой: мосье Ландражен уже ранее вас выразил желание сказать пару слов.

Кукольник, как окаченный холодной водой, опустился опять на свое место.

– О! я мог бы и обождать, – любезно отозвался по-французски Ландражен, но сам уже приподнялся с бокалом в руке и с поклоном обратился к «новорожденной». – Мосье Нестор, как начинающий поэт, вероятно, воспевает вас, мадемуазель, звучными стихами, и ему по праву принадлежит финал, апофеоз. У меня же не имеется собственных стихов; я могу только цитировать другого поэта – современного нашего французского Анакреона, у которого, в числе несчетных перлов лирики, есть одна пьеска, точно сочиненная на вас: «La petite fee».

Enfants, il etait une fois
Une fee appelee Urgande...¹²

Читал Ландражен бесподобно, с тем неподражаемым тонким подчеркиванием и огоньком, которые свойственны одним французам. После рефрена последнего куплета:

Ah! bonne fee, enseignez-nous,
Ou vous cachez baguette! —

он прибавил уже прозой от себя, грациозным жестом указывая на Лизаньку Орлай:

– Вот она, наша маленькая добрая фея: чем, как не своей волшебной палочкой, собрала она всех нас в этот тесный дружеский кружок? Из года в год, изо дня в день приносит она в этот благословенный дом мир и радость; а сама все растет-растет, распускается из бутона, чтобы расцвести вдруг настоящей феей. Немудрено, если она заколдует тогда какого-нибудь

¹² Речь идет о стихотворении Беранже «Добрая фея». Мы приводим начало стихотворения в переводе Курочкина: Некогда, милые дети, Фея Урганда жила, Маленькой палочкой в свете Делав большие дела. Только махнет ею – мигом Счастье прольется везде... Добрая фея, скажи нам, Где твоя палочка, где?

избранного смертного и, отдав ему руку и сердце, на воздушной своей колеснице, запряженной белыми лебедями, умчится от нас со счастливецом – куда? Почему я знаю! Покамест же, господа, она среди нас, – будем ее чествовать и славить: да здравствует нагла маленькая фея!

«Маленькая фея», не приготовленная, видно, к такому восторженному привету, разгорелась, как маков цвет; но, по молчаливому знаку матери, застенчиво вышла из-за стола с бокалом в руках и начала обходить всех гостей. Когда она добралась так до нижнего конца стола, все гимназисты, как один человек, повскакали со своих мест и принялись наперерыв чокаться с нею. Один только Гоголь не особенно торопился.

– Ай, мое платье! – ахнула Лизонька, которой, при общем столкновении бокалов, целая струя густой вишневой наливки плеснула на новенькое кисейное платьице.

– Позвольте я сейчас обсушу, – сказал галантный кавалер Кукольник и салфеткой стал усердно обтирать на белой кисее темно-красное пятно.

– Да вы, Нестор Васильевич, еще больше размажете, – со слезами уже в голосе пролепетала маленькая барышня.

Шарлотта Ивановна, издали заботливым глазом матери следившая за своей любимицей, поспешила к ней на выручку.

– Ничего, мы это сейчас смоем, – успокоила она девочку и увела ее из комнаты.

Сам Кукольник до того оторопел, что когда слуга подошел к нему с блюдом мороженого, он отвалил себе на тарелку двойную порцию.

А с верхнего конца стола, из среды профессоров, донесся громогласный оклик профессора «российской словесности» Парфения Ивановича Никольского:

– А у вас, Кукольник, что там приготовлено: тоже стишки?

– Стихи-с...

– Что же вы предварительно мне на цензуру не предъявили? Благо новорожденная отлучилась, подайте-ка их сюда.

Делать нечего: молодой поэт оставил на столе свою тарелочку с мороженым и направился к взыскательному цензору. Тот принял от него листок и прочел про себя написанное.

– Гм, в общем было бы добропорядочно, – промолвил он, – кабы вы более держались классических образцов.

Зело, зело, зело, дружок мой, ты искусен,
Я спорить не хочу, но только склад твой гнусен.¹³

– Я, Парфений Иванович, старался подражать Пушкину, – стал оправдываться Кукольник.

– Пуш-ки-ну? – протянул, приосанясь, Парфений Иванович. – Которому: дяде или племяннику? Да, впрочем, оба хороши, один другого стоит.

– Простите, Парфений Иванович, но стихи племянника, Александра Пушкина, не мне одному, а очень многим нравятся.

– Стыдно, стыдно, молодой человек! Вам и имя-то при крещении как бы нарочито дано классическое: Нестор. А вы нашим бессмертным классикам – Ломоносову, Сумарокову, Хераскову – предпочитаете кого? Бог ты мой! Какого-то мальчишку, незрелого выскочку!

– Но у него, Парфений Иванович, стихи, право, удивительно мелодичны...

– «Мелодичны!» Не в мелодии, любезнейший, дело, а в красоте образов, в возвышенности слога. Где вы найдете у него такую картину утра, как у столпа российских стихотворцев, Ломоносова:

¹³ Стихи Сумарокова.

И се уже рукой багряной
Врата отверзла в мир заря,
От ризы сыплет свет румяный
В поля, в леса, во град, в моря.
Велит ночным лучам склониться
Пред светлым днем и в тверди скрыться.

Или такое описание ночи:

Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне – дна.

Всего две строки, кажись, а что за сила, что за глубина!

– Да я и не думаю соперничать с Ломоносовым, – пробормотал Кукольник и, получив обратно от профессора свой листок, скомкал его в руке.

– Что вы делаете, Нестор Васильевич! – укорил его хозяин-директор. – Вы же еще не прочли нам...

Но профессор Никольский одобрил поступок молодого поэта:

– Нет, ваше превосходительство: он сам, очевидно, сознал, что сей плод его музыки, как и пушкинские, не совсем дозрел и испортил бы лишь пищеварение истинным ценителям. Дальнейшие плоды, при нашей помощи, будем надеяться, окажутся более удобоваримы.

Вконец устыженный, Кукольник с понурой головой поплелся к своему месту.

– А где же мое мороженое? – спросил он. Перед ним стояла пустая хрустальная тарелочка; но следы сливок на ее дне и на чайной ложке свидетельствовали, что мороженое было тут, да съедено.

– Вот что значит витать в поднебесье! – сказал Гоголь, с наслаждением гастронома прихлебывая ложечкой с собственной тарелочки полурастаявшее мороженое. – Сам же ведь давеча скушал.

– Кто? Я?

– Смотрите-ка, господа, он уже забыл! Эх ты, Возвышенный!

– Конечно, сам скушал! – подтвердил Мишенька Орлай.

И остальная «мелюзга» с веселым смехом дружно его поддержала:

– Конечно, сам!

«Возвышенный» свирепо на них покосился и с гордо-обиженным видом молча присел за свою пустую тарелочку.

– Эх ведь надулся, как мышь на крупу, – сказал Гоголь и украдкой подал знак слуге, чтобы тот угостил опять мороженым обделенного.

Между тем у взрослых речь перешла на театральные представления воспитанников, и профессор Никольский сообщил хозяину, что у него, Никольского, в примете на сегодняшний день поставить некую трагедию «северного Расина» Сумарокова: «Синава и Тру-вора» или «Дмитрия Самозванца», что и роли у него были уже намечены для старших пансионеров, да вот, к прискорбию, со стороны некоторых коллег встретилось непреодолимое сопротивление.

– А жаль, – отозвался Орлай. – Подобное развлечение среди учебных занятий даже полезно, ибо освежает молодые головы. Кроме того, домашние спектакли делают молодых людей, несомненно, развязнее...

– Даже чересчур! – вмешался в разговор профессор Билевич. – Вон Гоголь-Яновский на прошлой масленице играл, помнится, Еремеевну в «Недоросле», да с тех пор и на уроках ведет себя Еремеевной.

Всем присутствующим, видно, припомнилась игра Гоголем Еремеевны в комедии Фон-визина, потому что на губах взрослых появилась улыбка, а между гимназистами послышался смех. Сам же Гоголь, при всей хваленой развязности на сцене и в классе, сделавшись здесь предметом общего внимания, застенчиво потупился.

– Дайте им играть трагических героев, так они, может быть, и на деле станут вести себя героями, – шутливо заметил Ландражен.

– И вправду, Иван Семенович! – подхватил Кукольник, который успел уже ободриться и, как свой почти человек в доме директора, позволял себе иногда вмешиваться в беседу взрослых. – Разрешите нам опять играть на масляной! Заместо классных досок, мы соорудили бы уже настоящие кулисы и поставили бы настоящую классическую трагедию Озерова или Державина.

– Озеров и Державин, милый мой, еще не подлинные классики, не боги, а полубоги российского Парнаса, – поправил Никольский.

– Но озеровский «Эдип в Афинах», Парфений Иванович, разве не классическая пьеса?

– Гм... пьеса изряднехонькая, но лишь полуклассическая. Да и кому же из вас, юнцов, была бы по плечу ответственная роль самого Эдипа?

– А хоть бы Базили: он у нас ведь коренной грек и перечитал в оригинале чуть не всех греческих авторов. Ты, Базили, сыграл бы ведь Эдипа?

– Отчего не сыграть, – отозвался Базили. – Но дозvoлят ли нам вообще играть?

Между господами педагогами поднялись оживленные прения: допускать ли опять театральные представления в стенах гимназии, так как еще задолго до спектакля молодые актеры за повторением ролей забывают повторять уроки. Но, благодаря вкусным и обильным яствам и питьям, настроение большинства оказалось настолько благодушным, что вопрос был разрешен утвердительно. «Коронной» пьесой был окончательно назначен озеровский «Эдип», а после него, по предложению Орлая, ради практики воспитанников в иностранных языках, положено было поставить по одной небольшой немецкой и французской комедии или водевилю; выбор их предоставлялся профессорам этих языков, а режиссерство – Кукольнику, говорившему свободно на обоих языках.

– В сию статью я не мешаюсь, – сказал Никольский, пожимая плечами. – Но нашей российской пьесы, молодой человек, и не могу вам доверить, как не доверяю нашим собственным виршам.

– А кстати, Парфений Иванович, – с улыбкой заметил тут Орлай, – ведь у нас появился здесь еще второй стихотворец.

– Кто такой?

– А вон Гоголь-Яновский. Николай Васильевич! прочтите-ка нам теперь ваши «Две рыбки».

Гоголь, уверенный, что директор давным-давно забыл уже про его балладу, и очень довольный, что избегнет, таким образом, беспощадной критики Парфения Ивановича, был застигнут врасплох.

– Увольте, Иван Семенович... – смущенно пробормотал он.

– Да баллада ведь с нами?

– Да... то есть, нет...

– Нечего вам кобениться, как упрямый жеребенок! – вмешался Парфений Иванович. – Мы все тут и без того знаем, что баллада ваша из рук вон плоха. Но чем плоше, тем лучше: и нам-то веселее, и вам здоровее; как осмеют вас всенародно, так узнаете, по крайности, цену своему непризнанному стихотворству.

– Как ни плохи мои стихи, но смеяться над ними я никому не позволю... – дрогнувшим голосом проговорил Гоголь и, с шумом отодвинув стул, стремительно вышел вон из комнаты.

– Одначе! – воскликнул Никольский.

– Это он сгоряча, Парфений Иванович, *pro aris et focus*¹⁴, – объяснил Орлай. – В своей балладе он рассказывает о любимом покойном братце; а кто из нас позволит смеяться над дорогим нам покойником? Милостивые государи и государыни! Последний блин, как видите, вышел комом. Что делать? У лучшей хозяйки бывают такие прорухи. Засим прошу вас в гостиную, куда подадут нам кофе. А вы, Нестор Васильевич, сыграли бы для нашего торжественного шествия маршик.

И под звуки триумфального марша все общество из залы двинулось в гостиную. Кукольник для своих четырнадцать лет играл на фортепиано уже весьма недурно, и за маршем последовала ария из моцартовского «Дон-Жуана», а за арией – вальс Ланнера.

Вдруг из залы влетела в гостиную вальсирующая пара: Базили с Лизонькой Орлай. Иван Семенович захлопал в ладоши:

– Bravo! Нам, старикам, видно, ничего не остается, как убраться в кабинете.

В кабинете тем временем был уже открыт ломберный стол. Четверо из господ педагогов уселись за бостон, другие сгруппировались вокруг директора-хозяина для оживленной беседы. Оживлению не мало способствовали также разнообразные ликеры собственного изделия Шарлотты Ивановны. А Кукольник за фортепиано не унывал: когда наступила пауза в танцах, он заиграл «*Gaudeamus*». С первых же звуков все начальство, как один человек, замурлыкало, затянуло старинную студенческую песню. Едва допели, как разошедшийся хозяин крикнул молодому музыканту:

– Ita! Ita!

И тот заиграл с собственными вариациями излюбленную директором венгерскую, подпевая:

Extra Hungariam non est vita,
Si est vita, non est ita...¹⁵

Сам Иван Семенович и земляк его, профессор Билевич, вторили вполголоса.

На воспитанников, однако, наибольший эффект произвела известная песенка Беранже: «*Le marquis de Carabas*», которую, по общей просьбе гимназистов, с неподражаемой игривостью пропел Ландражен. Когда, около полуночи, все распрощались с гостеприимными хозяевами и молодежь стала подниматься по лестнице на свой третий этаж «для положения себя в постели», Кукольник затянул ту же песенку, очень удачно подражая Ландражену, а товарищи с одушевлением подхватили рефрен:

Chapeau bas! chapeau bas!
Gloire au marquis de Carabas!¹⁶

А Гоголь? Он давно лежал под своим одеялом; но ему не спалось, и он беспокойно поворачивался с боку на бок, по временам лишь тяжко вздыхая.

– Ты о чем это, Никоша? – впросонках спросил его Данилевский, кровать которого отделилась от его кровати только табуретом.

Гоголь притворился спящим и пустил в ответ густой храп.

Не мог же он, в самом деле, признаться, что изорвал на мелкие лоскуточки единственный список своей драгоценной баллады «Две рыбки», которая, таким образом, навсегда утратилась для потомства.

¹⁴ Из-за алтаря и очага (*лат.*).

¹⁵ Вне Венгрии нет жизни, а коли есть, то не такая... (*лат.*)

¹⁶ Шапки долой! шапки долой! Слава маркизу Караба! (*фр.*)

Глава четвертая

Дошутился

Подходила масленица, а с ней и день гимназического спектакля. На долю Гоголя в озерской трагедии выпала незначительная роль верховного жреца храма Эвменид, да и той он не мог подучить на зубок: очень уж тяжеловесны были эти «полуклассические» александрийские ямбы. Куда более занимала его сама обстановка театра, потому что, с разрешения начальства, на этот раз имелось в виду пригласить зрителями и живших и Нежине ближайших родственников молодых актеров, и, чтобы не ударить лицом в грязь, ставили «настоящие декорации», а Гоголю, как изрядному рисовальщику, поручили сооружение их и раскраску. Во время рекреаций, когда все прочие гимназисты гуляли, резвились, он не делал ни шагу из запасной классной комнаты, специально отведенной господам актерам, и с редким усердием клеил, малевал.

Раз, впрочем, Данилевский застал его там и за другим делом: Гоголь держал в руках ручное зеркальце и корчил сам себе уморительные рожи.

– Ты что это, Никоша, мимику, что ли, изучаешь? – спросил Данилевский.

– А то как же? – был ответ. – Ведь коли играть этакого столетнего старикашку, так надо и выглядеть стариком. Вот зубы только мешают: никак не могу добиться, чтобы нос сходился с подбородком, погляди-ка.

Данилевский расхохотался: благодаря крючковатому носу и выдающемуся подбородку, друг его почти достигал уже своей цели.

– Ну что, изряднехонько?

– Превосходно! Только вот что я тебе скажу, дружище: ты забываешь, что у верховного жреца должен быть вид строгий, величественный, а у тебя выходит, извини, какая-то карикатура на жреца, замухрышка, над которым не грех и посмеяться.

– Что и требовалось доказать. По крайней мере, увидят, что в этакой ходульной пьесе гораздо более комизма, чем трагизма.

– Ничего не увидят, как разве то, что ты не трагик, а комик. Но это и без того нам всем известно.

– По природе-то я не комик, а меланхолик, – серьезно и как бы с оттенком грусти промолвил Гоголь, – наши товарищеские игры, например, не доставляют мне ни малейшего удовольствия...

– Вот то-то и удивительно, – подхватил Данилевский, – как объяснить себе такое противоречие в твоей натуре? Ставить других в нелепое, смешное положение, напротив, доставляет тебе большое удовольствие.

– Потому что этим я разгоняю свое тоскливое настроение. Да и моя ли вина в том, что у меня есть некоторый дар подмечать все смешное?

– Как бы этот дар не обошелся тебе слишком дорого!

Опасения Данилевского скоро оправдались. Началось дело на уроке у учителя пения Федора Емельяновича Севрюгина. В гимназическом хоре «для порядка» должны были участвовать все воспитанники, как способные к музыке, так и лишённые музыкального слуха. К числу последних принадлежал и Гоголь. И вот на таком-то уроке хорового пения он взял высокую ноту настолько «мимо», что даже привыкший к таким фальшивым нотам у учеников Федор Емельянович не выдержал.

– Экой вы глухарь, Яновский! – заметил он по привычке нараспев и запиликал на своей скрипиче под самым ухом Гоголя. – Пропойте соло.

– «Экой вы глухарь, Яновский! Пропойте соло!» – затянул совершенно под тон ему Гоголь.

Остальные школьники захохотали, учитель же справедливо возмутился.
– Есть ли у вас совесть, Яновский! – вскричал он.
– Совесть-то есть, да голос ее не всегда слышу: глухарь! Что поделаешь?

У сусида хата била,
У сусида жинка мила,
А у мене ни хатинки,
Нема счастья, нема жинки...¹⁷

¹⁷ Из «Наталки-Полтавки» Котляревского.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.